

“СВОИ” И “ЧУЖИЕ” В ДИНАМИКЕ: ПРИМЕР РИМА

© 2017

А.В. Шипилов

Если какая-то социокультурная единица, социалия, хочет быть реалией, ей необходим оппонент, отрицанием которого она и положит себя: быть собой — значит не быть другим. И чем социум и/или культура более самоидентифицированы, тем в большей степени они отталкиваются от других. Зато в фазах их отождествления и растождествления противопоставление “своего” “чужому” выражено минимально: в обоих случаях социокультурная единица минимально отлична от других, только в первом — еще, а во втором — уже. В этом плане интенсивность оппозиции “свои— чужие” показывает, в какой фазе находится тот или иной социум/культура. Это я и попробую продемонстрировать на классическом примере Рима. А поскольку первая ситуация — отождествление — обычно привлекает большее внимание исследователей, мы ограничимся здесь лишь парой иллюстративных примеров, зато более основательно займемся второй.

Базовыми уровнями оппозиции “своего” и “чужого” для Рима, как и для любого другого античного социума, были уровень семьи и уровень общины: *familia* и *civitas* соотносились друг с другом как часть целого и целое частей, отталкиваясь в то же время от однопорядковых единств как одно и иное. Структура социального пространства выражала себя в структуре пространства физического. Система границ, организовывавших это последнее, поддерживалась всей совокупностью культурных форм от мифа до права. Так, по римскому обычаю два дома не могли иметь общую стену — иначе исчезла бы разделительная линия между дворохозяйствами — уникальными агломерациями людей, вещей и духов. Обычай этот был закреплён юридически: согласно Законам XII таблиц, между постройками, принадлежащими разным хозяевам, должно было оставаться свободное пространство в 2,5 фута — такова нормативная ширина границы между “своим” и “чужим”. Линия “своего” не должна была нарушаться даже при вызове в суд — вызывать можно было лишь от двери.



ОТКУДА И КУДА



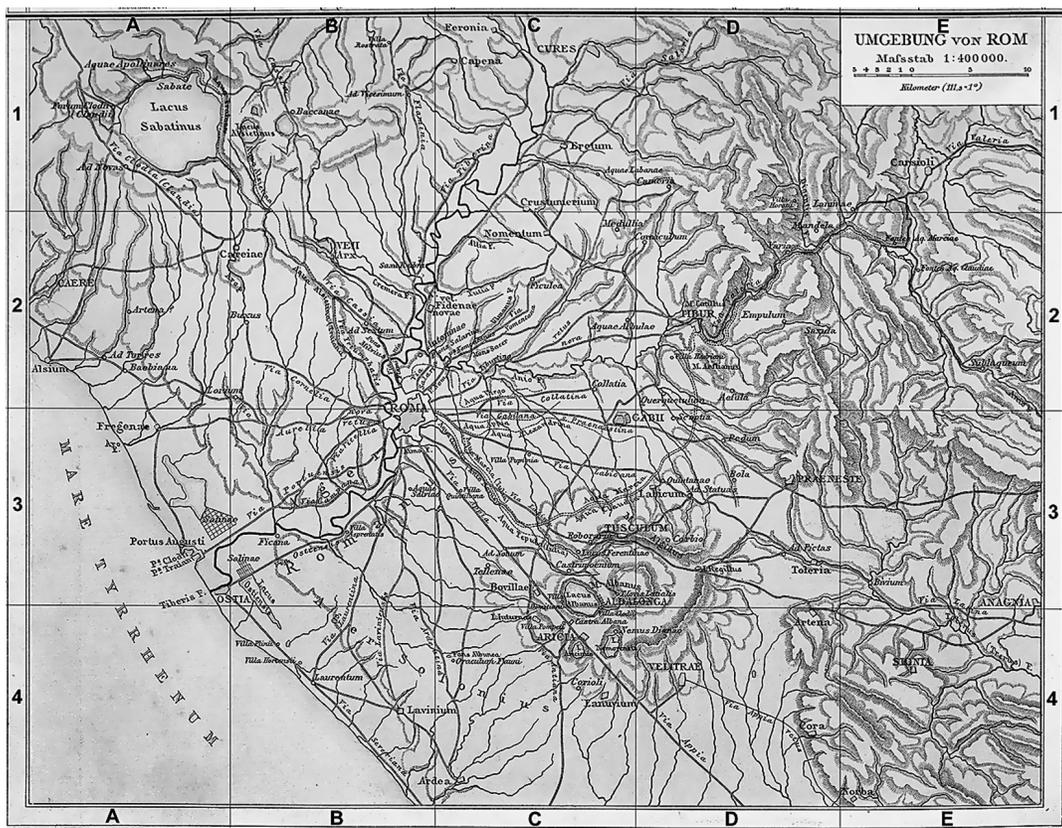
**Шипилов
Андрей
Васильевич** —

доктор культурологии, профессор кафедры философии, экономики и социально-гуманитарных дисциплин Воронежского государственного педагогического университета, постоянный автор журнала. E-mail: skriptor@icmail.ru



Впрочем, куда более значимой была граница полиса. За ней начинался мир, отношения с которым мыслились боевыми. Линия, отделяющая территорию полиса от мира “чужого”, в обязательном порядке сакрализовалась — демаркационные практики были разработаны с особой тщательностью. Прежде всего, городская территория отделялась от остального мира священной границей — померием (pom(о)erium — от post murum, т.е. за [городскими] стенами). При закладке города черту померия метили бороздой, которую вспахивали с соответствующими обрядами: на месте будущих ворот плуг поднимали — здесь был контрольно-пропускной пункт, через который “свои” выходили в мир “чужого”, а “чужие” попадали в мир “своего”. Граница фундаментальным образом табуировалась: за неудачную шутку с померием Ромул убил Рема. Высшая мера за нарушение рукотворной границы стала нормой римского права: согласно Помпонию, *“если кто-нибудь повредит стены, то он наказывается смертью, как и тот, кто перелезет через стену с помощью лестницы или иным способом, ибо римским гражданам не разрешается выходить [из города] иначе, как через ворота; перелезание через стены является враждебным актом и должно быть отвергнуто: и Рем, брат Ромула, был убит, как передают, за то, что он хотел перебраться через стену”*. То же самое касалось и стен воинского лагеря, который представлял собой некий модуль “своего” в пространстве “чужого”, — Модестин указывает: *“Караются смертью тот, кто перейдет [окружающий лагерь] вал или кто войдет в лагерь через стену”*.

Каждый шаг в “чужой” земле был опасен — недаром в фации (пучок прутьев, которые несли сопровождавшие высших магистратов ликторы) за пределами города втыкался топор. Римские жрецы-фециалы, исполнявшие роль послов и объявлявшие в случае необходимости состояние войны, использовали для магической защиты священную вербену с Капитолия и специальными молитвами отмечали каждый свой шаг в инфернально-враждебном внешнем мире. Они обращались к богам сперва на границе, затем после того, как встретят первого “чужого”, далее при входе в ворота города “чужих” и, наконец, при вступлении в самое средоточие чужести — на городскую площадь. По выходе из городских ворот граждане превращались в воинов и в качестве таковых не могли быть введены командующим армией консулом в город — для этого требовался обряд очищения дабы нейтрализовать вредоносное загрязнение “чужим”. Опасность инфекции в этом случае представлялась столь угрожающей, что жрецам-фламинам нельзя было даже видеть вооруженное войско за пределами померия. Вообще, жрецы при исполнении обрядов закрывали лицо покрывалом, чтобы ненароком не заметить чужеземца; святыни, до которых дотронулся чужой, считались оскверненными и требовали очищения. Отправлять чужеземные культы внутри померия запрещалось вплоть до Второй Пунической войны.



Так как каждый полис являлся структурным оппонентом всех остальных и, наоборот, все остальные являлись его природными врагами, перманентным состоянием была война всех против всех. Открытые ворота храма Януса означали, что государство воюет; за шесть с половиной веков со времен воздвигшего храм и закрывшего ворота Нумы Помпилия и до времени Августа включительно их закрывали лишь дважды — после окончания Первой Пунической войны и после сражения при мысе Акциум. “*Это боги дали увидеть нашему поколению*”, — говорит Тит Ливий о последнем случае. Иными словами, состояние мира есть нечто невероятное: это случается лишь раз в несколько столетий, да и то по воле богов. Война была естественной, мир — искусственным, и “свои” непрерывно противостояли “чужим”.

Однако, чтобы противостоять чужим, нужно было определить, кого же считать своим, а с этим в первые столетия римской истории далеко не все было ясно. Римская архаика производит впечатление даже не последовательной цепочки, а подлинного клубка миграций и колонизаций, сопровождающихся самыми многообразными идентификационными мутациями. На протяжении полутысячелетнего перехода от поздней брон-



зы к раннему железу на территории, где сформировалась римская община, в непосредственной близости и на некотором отдалении от нее сталкивались, наслаивались и диффундировали разнообразные доиндоевропейские и индоевропейские племена. Начиная с микенских времен здесь бывали греки, которые уже в середине VIII в. до н.э. вновь высадились в Кампанию; одновременно в Тоскане обозначили свое присутствие этруски; затем в долину По пришли кельты, а на Сицилии, Сардинии и Корсике обосновались карфагеняне. В Лации, в нижнем левобережье Тибра и конкретно на римских холмах и в низинах между ними на лигуро-сикульский субстрат с ахейскими и иллирийскими включениями наложилось латинское, сабинское и, позднее, этрусское население.

Таким образом, Рим изначально складывался как полиэтническое сообщество — ни о каких *автохтонах* в аттическом смысле речь здесь идти не могла.

В самой римской традиции генезис знаменитого города/народа описывался именно в ключе бесконечных переселений-объединений, по факту минимизирующих антагонистическую кристаллизацию “своего” и “чужого”. У Вергилия в “Энеиде” Юпитер так возвестил Юноне о грядущем возникновении новой общины: *“Род в Авзонийской земле возникнет от смешанной крови”*. Уже Саллюстий описывает римлян как метисов: *“Город Рим, как мне известно, основали и населяли сначала троянцы, которые, бежав из Трои под предводительством Энея, скитались, не имея определенного места жительства. К ним присоединились аборигены, дикое племя, не признававшее законов и власти, свободное и своевольное. Окружив занятое ими место общими стенами, они соединились и, несмотря на различие в происхождении, языке и образе жизни, невероятно быстро слились воедино”*.

Тит Ливий углубляет и дополняет эту версию: у него троянцы заключают союз с племенем Латина, и ряд поколений спустя дело доходит до истории Ромула и Рема, создающих из пастушеской молодежи новую общину. Население вновь основанного города пополнялось беглецами и изгоями из соседних племен, так что добыть себе невест эти “римские юноши” смогли, лишь умыкнув сабинянок, следствием чего стало новое объединение: римляне и сабиняне *“не просто примирились, но из двух государств составили одно”*. По Плутарху, *“сабиняне приняли римский календарь”, “Ромул же заимствовал у них длинные щиты, изменив и собственное вооружение и вооружение всех римских воинов... Каждый из двух народов участвовал в празднествах и жертвоприношениях другого”*.

Наконец, у Дионисия Галикарнасского римляне оказываются, ни много ни мало, эллинами (*“не найдешь ни единого среди народов ни более древнего, ни более эллинского”*), но в такой степени метисированными, что приходится удивляться, как из столь смешанного населения смогла возникнуть столь крепкая община.

Будучи изначально полигентильной и полиэтничной, римская община еще и принимала в себя население побежденных соседних городов, вливавшееся в ряды квиритов в качестве полноправных членов триб и курий. В царствование Анка Марция сюда переселился некий Лукумон из Тарквиний, бывший, кстати, сыном коринфского изгнанника Демарата. Этот полугрек-полуэтруск, обосновавшись в Риме и взяв имя Луция Тарквиния, стал опекуном царских детей, а после смерти рекса был избран на царство. Тарквиний Древний ввел в сенат сто новых членов и удвоил количество конницы; надо думать, что в обоих случаях не обошлось без представителей этрусских родов. Сервий Туллий, который, по одной из сохранившихся в традиции версий, был этрусским вождем Мастарной, и Тарквиний Гордый также не могли не способствовать усилению этрусского влияния/присутствия. На протяжении всего царского и даже в начале республиканского периода римская община активно расширялась, принимая в число граждан большие группы сабинского, латинского и этрусского населения, что свидетельствует о сравнительно невысокой выраженности оппозиции “свои — чужие” в эту эпоху.

Было бы, однако, неверным утверждать, что такая оппозиция вовсе отсутствовала. Ситуация была более сложной: отличия/отталкивания от внутренних и внешних “чужих” до известной степени нивелировали и снимали друг друга. Дело в том, что римская община, складывавшаяся описанным выше образом, изначально не была автономной/автаркичной. Сперва эти альбанские выселки выступали составной частью одной из латинских федераций, центром которой являлось святилище латинского Юпитера на Альбанской горе. После свержения Тарквиния Гордого и захвата власти аристократией сложился новый союз, в который вошли, с одной стороны, Арицийская федерация, с другой, — Рим. Просуществовав около века, союз распался в связи с галльским нашествием (390 г. до н.э.), но в 358 г. был восстановлен и расширен, чтобы вновь развалиться в результате Второй Латинской войны 340–338 гг. до н.э.: после победы в ней Рим заключал договоры уже с каждым городом отдельно. Федерация сменилась гегемонией — Рим стал классическим полисом, по отношению к которому другие выступали “чужими”.

Но относиться к внешнему как “чужому” можно лишь тогда, когда внутреннее воспринимается как “безусловно свое”, а с этим, как мы уже замечали, в раннем Риме все было не так просто. Где-то во второй половине VII в. до н.э. начинает складываться порядок, при котором часть депортантов и переселенцев перестает включаться в родовую систему триб и курий. Между полноправными гражданами, будь то патриции (аристократизирующиеся потомки первопоселенцев) или клиенты, с одной стороны, и располагающими лишь частью имущественных (не говоря уже о политических) прав плебейми, —



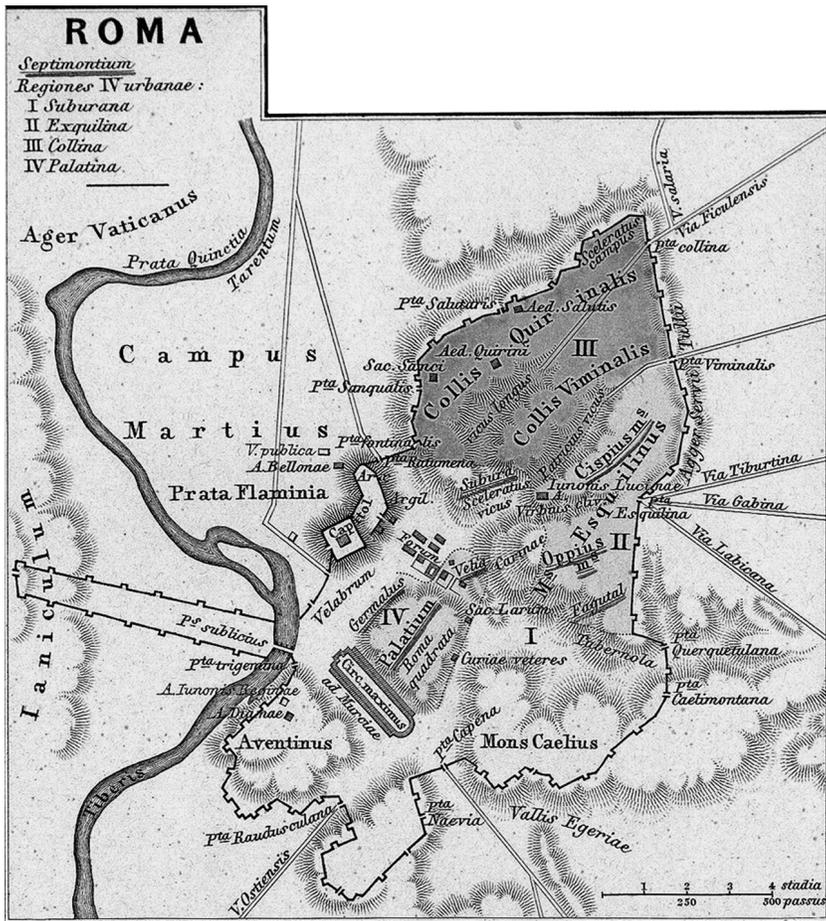
ОТКУДА И КУДА



с другой, нарастает взаимное отчуждение. В первые десятилетия Республики дело несколько раз едва не доходило до вооруженных столкновений. Началась двухвековая борьба плебеев с патрициями. Где-то к середине IV в. до н.э. и уже совершенно определенно к его концу плебс уравнился, а затем и слился с патрициатом в общем теле гражданства. Это совпадение/отождествление *populus*, *plebs* и *civitas*, снявшее последние следы внутренней оппозиции “своих” и “чужих”, означало завершение формирования римского полиса, и совершенно закономерно, что практически одновременно римляне разгромили Латинскую федерацию и установили господство над большей частью ее бывших членов. Проще говоря, по мере того, как плебеи становились “своими”, латины превращались в “чужих” — максимум внутреннего различия при минимуме внешнего сменялся максимумом внешнего различия при минимуме внутреннего: интроинтеграция обеспечивалась экзодифференциацией.

Синхронно-аутентичных источников для подтверждения данного положения у нас практически нет, так что вместо верификации придется прибегнуть к иллюстрации, в частности, к описаниям борьбы патрициев и плебеев у Тита Ливия и Дионисия Галикарнасского. (Возможно, в них отразились черты куда лучше известной авторам борьбы оптиматов и популяров II—I веков до н.э., но воспользоваться соответствующими текстами для объяснительной экстраполяции все же, думается, вполне возможно.) Для нас здесь, в частности, интересно, что в изображениях противостояния “своих” и “чужих” как во внутриобщинном, так и в межобщинном варианте греческий и римский историки задействуют риторику, в которой под поздними стоическими наслоениями хорошо просматривается классическая бинарная логика: для того, чтобы быть собой, необходимо отличаться от другого. У Дионисия вождь вторично удалившихся из Рима плебеев предстает эллинистическим философом-космополитом: *“Так как патриции хотят одни владеть гражданской общиной, то пусть они ею и пользуются. Для нас Рим — ничто. У нас нет ни очагов, ни жертвоприношений, ни отечества. Мы покидаем лишь чужой город; мы не связаны с этим местом наследственной религией. Нам везде на земле одинаково хорошо; там же, где мы найдем свою свободу, там будет и наше отечество”*. У патриота-державника Ливия ничего подобного, понятно, нет, но и он не может удержаться, чтобы не охарактеризовать душевное состояние плебеев-воинов словами: *“ненависть к чужим и своим борется в их душах”*.

Но и у патрициев душа неспокойна. Консулы прямо обвиняют трибуна в преступлении против идентичности: *“К чему клонит Канулей, и с таким упорством? К тому, чтобы роды смешались в сброд, чтобы поколебался чин общественных и частных тицигаданий, чтобы не осталось ничего не испорченного, ничего беспримесного, чтобы с утратой всех различий никто не знал бы*



А. Шпилов
 “Свой” и “чужие”
 в динамике:
 пример Рима

уже ни себя, ни своих? Что такое эти смешанные браки, как не простое, словно у диких зверей, спаривание между патрициями и плебеями? Чтобы появившийся на свет не знал, чьей он крови, чьим причастен святыням, — полупатриций, полуплебей, сам с собой в разладе!” (здесь и далее — Ливий). Народный трибун в ответ резонно замечает, что хлопочущие о чистоте крови патриции своей родовитостью “отчасти обязаны альбанцам и сабинянам, пополнившим патрицианские роды не потому, что были знатны, а по выбору царей”, чье происхождение было еще более сомнительным: “Или вы сомневаетесь в том, что когда-то по воле народа и утверждению сената царствовал в Риме Нума Помпилий, не только не патриций, но даже и не римлянин, а пришелец из сабинской земли? Ну а Луций Тарквиний, объявленный царем при живых наследниках Анка, — он ведь не только не римлянин, и даже не италиец, а поселившийся в Тарквиниях сын коринфянина Демарата. И разве Сервий Туллий, сын пленной коринфуланки, не природной доблестью одержал царскую власть: его мать ведь была рабыня, а отцом, стало быть, никто. ... Толь-



ОТКУДА И КУДА



ко так, не отталкивая спесиво никого, в ком блеснула доблесть, и смог подняться в своем величии Рим”.

Если плебейский трибун Канулей предложил избирать одного консула из плебеев, то латинский вождь Анний предложил избирать одного консула из латинов, апеллируя к тому, что *“если нас все-таки гложет тоска по свободе, если существует договор, если союзничество, если равенство прав существует, если мы — соплеменники римлян — чего некогда мы стыдились и чем ныне можем гордиться, — если союзным для них является наше войско, появление которого удваивает их силы и с которым консулы не желают расставаться, ни затевая, ни завершая войны, — если все это так, то почему не во всем у нас равенство?”.* Явившись в римский сенат, он заявил, что *«одного консула следует выбирать из римлян, другого из латинов, в сенате оба народа должны быть представлены равно, и да будет у нас единый народ и единое государство... На благо тех и других да будет вашему отечеству оказано предпочтение, и все мы станем зваться “римляне”».* Но римляне больше уже не желали ни с кем объединяться и делиться своим именем (идентичностью): консул Тит Манлий, *«придя в страшный гнев, <...> заявил прямо, что если отцы-сенаторы окончательно обезумели и готовы принять законы, предлагаемые каким-то сетинцем, то он препоясается мечом, так явится в сенат и собственной рукою убьет любого латина, которого завидит в курии. После чего, оборотясь к образу Юпитера, он воскликнул: “Слушай, Юпитер, все это непотребство! Слушайте и вы, боги и законы! Взятый в полон и униженный сам, Юпитер, узришь ты в священном храме твоим иноземных консулов и сенат иноземцев!”.* Римский бог возмутился не меньше римского консула и поразил чужака-нечестивца: *“Когда взбешенный Анний стремглав бросился вон из храма, он упал на лестнице и так крепко ушибся головою о последнюю ступеньку, что потерял сознание”,* а увидевший это Манлий *«...закричал так, что слова его были хорошо слышны и народу, и сенаторам: “Отлично! Сами боги начали святую войну. Значит, воля небес существует! Ты существуешь, великий Юпитер! Не напрасно чтим мы в этой священной обители тебя, отца богов и людей! Квириты и вы, отцы-сенаторы, что медлите братья за оружие, когда сами боги ведут нас в бой!”.* et cetera, et cetera. В последовавшем за этим газавате римские шахиды совершили не один истишхад и, в общем, показали латинам, что их место отнюдь не в сенате: *“Консулы не успокоились, пока не привели к покорности весь Лаций, один за другим захватывая города или приступом, или принимая их добровольную безоговорочную сдачу”,* после чего и был установлен новый римский порядок, о котором говорилось выше. Таким образом, латины заняли место плебеев в качестве тех “чужих”, негация которых является необходимым условием достижения “своими” позитивной социальной идентичности. Однако к этому моменту “от основания Града” прошло уже более четырех веков, на протяжении которых оп-



позиция “свои — чужие” оставалась далеко не такой четкой, масштабной и интенсивной.

Но исторические обстоятельства сложились так, что на стадии классического полиса Рим надолго не задержался — едва успев сформироваться, содержание понятия “римляне” стало изменяться. Уже к середине III в. до н.э. Рим подчинил всю среднюю и южную Италию; победа в Первой Пунической войне дала ему первые заморские провинции, затем была завоевана галльская северная Италия, а после Второй Пунической в римскую провинцию превратилась большая часть Испании. Провинции в качестве “поместий римского народа” подвергались самой беззащитной эксплуатации, принять участие в которой желали и италийские союзники, особенно из категории потенциальных обладателей римского гражданства. Союзники “латинского права” хлынули в Рим таким потоком, что в 70-е гг. II в. до н.э. этим переселенцам прекратили давать гражданство и даже стали их депортировать. По мере роста числа провинций росло и недовольство италийских союзников; попытки расширить их права столкнулись с ожесточенным сопротивлением сената — главного носителя классической полисной традиции. Дело дошло до Союзнической войны, которую восставшие италийцы в военном отношении проиграли, но в политическом — выиграли, получив (за небольшими исключениями) желанное римское гражданство. Началось слияние *populus romanus* и *tota Italia*, логически неизбежно сопровождавшееся резким противопоставлением римско-италийского единства всей массе провинций: в результате реформ Суллы территория Италии перешла в ведение гражданских, а провинциальная — в ведение военных властей (проконсулов и про-



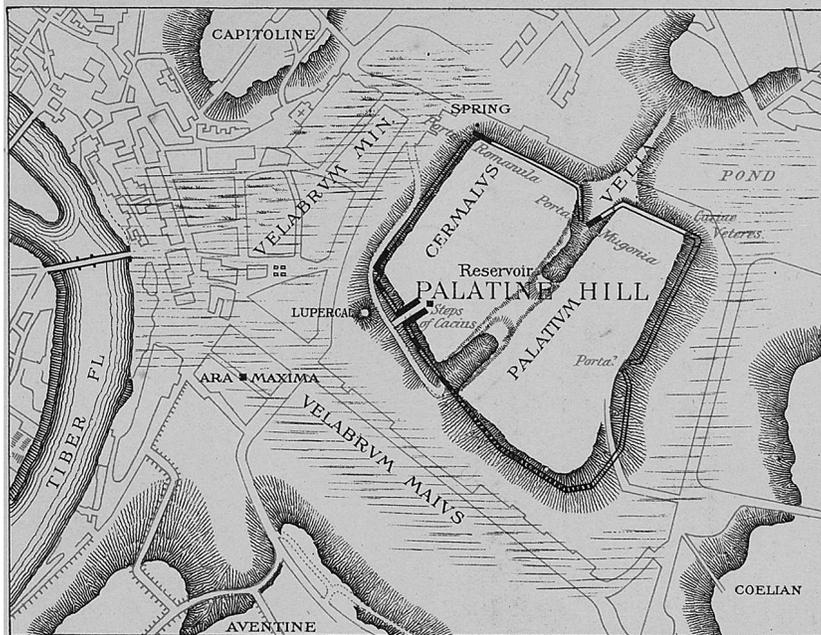
преторов). В Италии, как раньше в Риме, не должны были находиться войска; можно сказать, что померий расширился до Рубикона — все это было теперь “своим”.

Однако Цезарь перешел Рубикон и дал гражданство Цизальпинской Галлии, положив начало “о-своению” провинций. Процесс быстро пошел по нарастающей — в *cives Romani et Italia* вливались все новые потоки провинциалов. При вступлении на престол Тиберия численность граждан достигла 5 млн. чел.; при Клавдии гражданские права получили до 2 млн. провинциалов, выходцы из провинций составили до половины армии, а в сенате появились завоеванные век назад галлы. Междоусобица после смерти Нерона была уже формой борьбы представителей разных провинций за власть над Италией, а при Антонинах на имперской территории начинается расселение варваров (пока еще в качестве колонов). Септимий Север ввел проконсульство для Италии и поставил под Римом легион — римско-итальянское сообщество утратило свой привилегированный статус, что было дополнительно подтверждено эдиктом Каракаллы 212 г., даровавшим права римского гражданства всем лично свободным жителям империи. Тем самым подданные стали гражданами, а граждане, соответственно, — подданными; права превратились в обязанности, привилегии — в повинности. В социополитической реалии, вышедшей из последовавшего за падением Северов полувекового кризиса с диоклетиановым членением на провинции, диоцезы и префектуры и константиновым переносом столицы в Константинополь, следов римской гегемонии и итальянского превосходства практически не осталось; Рим больше не был ни общиной, ни даже формой власти — он стал местом памяти. Флавий Вегетий Ренат в своем “Кратком изложении военного дела”, составленном на рубеже IV–V вв., патетически вопрошал: *“Ведь не исчез еще в людях военный пыл Марса, не выродились те земли, которые родили лакедемонян, афинян, марсов, самнитян, пелигнов, наконец, самих римлян. Разве жители Эпира не были некогда наиболее могущественными в военном деле? Разве македоняне и фессалийцы, победив персов, не проникли до самой Индии, прокладывая себе дорогу оружием?”*. Но на этот крик души никто уже не отзывался: не было больше ни афинян, ни лакедемонян, ни македонян, ни самих римлян. Что там “римляне” — Аммиан Марцеллин рассказывает, как его современники-италийцы отрубали себе большой палец на правой руке, чтобы избежать воинских наборов (с таким дефектом нельзя было держать оружие); в этом плане становится понятным, как 500 тыс. вторгшихся в середине V века в Галлию германцев без труда подчинили 10 млн. галло-римлян, а в следующем столетии 100 тыс. готов, среди которых было не больше 20 тыс. взрослых мужчин-воинов, легко контролировали семимиллионное население Италии.

К моменту разделения Империи (395 г.) процесс варваризации было уже не остановить: внутреннее здесь сливалось

Fig. 44

PLAN OF KINGLY PALATINE



А. Шпилов
 “Свой” и “чужие”
 в динамике:
 пример Рима

с внешним, римская идентичность распалась. Варвары перестают брать римские имена, зато для самих римлян все варварское становится престижным. Реальная власть и на Западе, и на Востоке принадлежит вождям варварских дружин, которые в зависимости от ситуации выступают то как защитники империи типа Стилихона, то как ее враги типа Алариха, причем эти роли то и дело меняются и единственная разница между ними — то, как называются получаемые варварами деньги: жалованьем или данью. Становится все менее понятно, кто с кем воюет — Рим с варварами или варвары между собой: так, Аларих сражался не только и не столько с равеннским императором Гонорием, сколько с вождем тамошних готв Саром. Знаменитая битва на Каталаунских полях явилась не последним великим сражением Рима против варваров, а очередным выяснением отношений среди самих варваров, часть которых на тот момент имела звание имперских федератов: Аттила возглавлял гуннов, остготовов, бургундов, тюрингов, герулов, ругиев, гепидов и был в союзе с вандалами, частью аланов и франков, а Аэций вел в бой летов, арморикан, брионов, саксов, часть бургундов, аланов и франков, будучи в союзе с вестготами. Это можно называть как угодно, но никак не сражением римлян с варварами. Год 476-й от Рождества Христова, когда командир германских наемников Одоакр низложил равеннского императора Ромула Августула, считается последним годом существования Западной Римской империи вполне формально: некоторые имперские институции исчезли гораздо раньше,



а некоторые античные институты сохранялись значительно позже этой даты. Но одно остается бесспорным: Рим, который так долго ассимилировал варваров, в конце концов был сам ассимилирован варварами, и социально-психологические и ценностно-идеологические факторы сыграли в этом не меньшую роль, чем военно-политические и социально-экономические.

Вообще для Рима, в отличие от Эллады, было свойственно довольно толерантное отношение к варварам как генерализованным “чужим”. Их построенная на принципах инкорпорации и ступенчатого гражданства политическая система была, в отличие от греческих полисов, не эксклюзивной, а инклюзивной, что вкупе с ученическим характером римской культуры, состоявшей в значительной мере из этрусских, эллинских, пунийских и сирийских заимствований, не способствовало кристаллизации конкретных дихотомий “своего — чужого”. Варварами именовались и в качестве таковых воспринимались вовсе не все не-римляне, а только те, что на данный момент стояли на сравнительно низком уровне развития и/или выступали опасными военными противниками, непосредственно угрожавшими Риму на его территории (так, Ливий впервые использует это понятие при описании похода галлов на Рим 390 г. до н.э., а затем в рассказе о Пунических войнах). Победенный противник подлежал романизации и деварваризации, как то произошло с галлами, испанцами и многими другими (собственно, “варварами” для римлян оставались те, кого они не смогли покорить, как германцев и парфян/персов).

Процесс активной романизации затронул множество самых разнообразных варварских племен и сопровождался глубокими идентификационными сдвигами вплоть до смены языка и самоназвания (по словам Иосифа Флавия, *“римское великодушие позволило всем обходиться и без своего собственного названия — и не только отдельным людям, но и целым народам”*). Уже Страбонская “География” буквально пестрит местами типа: *“левканцы по происхождению самниты... Но теперь они — римляне”*; *“турдетанцы, особенно живущие около реки Бетия, совершенно переменили свой образ жизни на римский и даже забыли родной язык. Большинство их стало латинскими гражданами и приняло к себе римских колонистов, так что все они почти что обратились в римлян”*; циспаданские племена: *“хотя в настоящее время все они римляне, но тем не менее некоторые еще называются омбрами и тирренцами, а также генетами, лигурами и инсубрами”*; нарбонские кельты-кавары: *“они уже не варвары, а большей частью преобразовались на римский образец, став римлянами по языку, образу жизни, а иные даже по государственному устройству”*; мисийцы: *“при римском владычестве большая часть их потеряла даже свой родной язык и свое имя”*. В эпоху принцепата романизация развивалась еще более активно (пока не начала превращаться в свою противоположность, что впервые обозначилось где-то между Антонинами и Северами), что было

не раз осмыслено и проговорено. Рим превратился из полиса-гегемона в территориальную монархию благодаря поддержке, оказанной первым принцепсам популярами и провинциалами, и потому принцип “плавильного котла” не мог не стать краеугольным камнем имперской идеологии. Очень ярко это выражено в “Анналах” Тацита, который реконструирует спор сенаторов с императором Клавдием о включении галлов в состав сената. *“Многие утверждали, — рассказывает историк, — что Италия не так уж оскудела, чтобы не быть в состоянии дать сенаторов своему главному городу. <...> Или нам мало, что венеты и инсубры прорвались в курию, и мы жаждем оказаться как бы в плену у толпы чужеземцев? Но какие почести останутся после этого для нашей еще сохранившейся в небольшом числе родовой знати или для какого-нибудь небогатого сенатора из Лация? Все заполнят те богачи, чьи деды и прадеды, будучи вождями враждебных народов, истребляли наши войска мечом”.*

Однако Клавдий не боялся этнокультурных различий — император-империц утверждал ценности плюрализма: *“Пример моих предков и древнейшего из них Клавса, родом сабинянина, который, получив римское гражданство, одновременно был причислен к патрициям, убеждает меня при управлении государством руководствоваться сходными соображениями и заимствовать все лучшее, где бы я его не нашел. Я хорошо помню, что Юлии происходят из Альбы, Порции — из Тускула и, чтобы не ворошить древность, что в сенате есть выходцы из Этрурии, Лукании, всей Италии, и, наконец, что ее пределы были раздвинуты вплоть до Альп, дабы не только отдельные личности, но и все ее области и племена слились с римским народом в единое целое. <...> Что же погубило лакедемонян и афинян, хотя их военная мощь осталась непоколебленной, как не то, что они отгораживались от побежденных, так как те — чужестранцы? А основатель нашего государства Ромул отличался столь выдающейся мудростью, что видел во многих народностях на протяжении одного и того же дня сначала врагов, потом — граждан. <...> Пусть же связанные с нами общностью нравов, сходством жизненных правил, родством они лучше принесут к нам свое золото и богатство, чем владеют ими раздельно от нас! Все, отцы-сенаторы, что теперь почитается очень старым, было когда-то новым; магистраты-плебеи появились после магистратов-патрициев, магистраты-латиняне — после магистратов-плебеев, магистраты из всех прочих народов Империи — после магистратов-латинян. Устаревает и это, и то, что мы сегодня подкрепляем примерами, также когда-нибудь станет примером”.*

В этом император был, конечно, прав: каждый пример ассимиляции Римом разнообразных “чужих” становился прецедентом для бесконечных последующих инкорпораций, и пока этот гигантский “плавильный котел” сохранял способность плавить свое разнородное содержимое, политика открытых дверей рассматривалась как чуть ли не высшее воплощение



“римской идеи”. Даже авторы эпохи поздней Империи, когда теоретическая романизация все больше сменялась практической варваризацией, с достойным лучшим применением упорством продолжали воспевать интер-, транс- и суперэтнический характер римского сообщества и негодовать на тех, кому это не нравилось (так Аммиан Марцеллин порицает столичных пролетариев, которые то и дело *“начинают реветь противными и бессмысленными голосами, что надо выгнать из города всех чужаков, хотя Рим во все времена был силен поддержкой пришлого элемента”*). *“Кто бы отважился отказать варварам в мудрости?”* — этот вопрос Элиана звучал исключительно риторически для людей, которые сами были в подавляющем большинстве потомками романизированных варваров и усердно подбирали доказательства исконности и благотворности римской ксенофилии: *“Я и сам убедился на основании прочтенной литературы и разнообразной молвы, — писал Секст Аврелий Виктор, — что город Рим возрос главным образом благодаря доблести чужестранцев и заимствованным у других искусствам”*.

Целый список таких заимствований фигурирует у Афинея, который, развивая подход Цицерона, хвалит римлян за интерес к чужому: *“Сохраняя свое, отечественное, они наряду с этим усваивали себе и те науки, которые некогда процветали у покоряемых ими народов... Узнав, например, от греков о машинах и осадных орудиях, они с помощью этих орудий разбили греков; финикийцев, изобретших корабельное дело, они разбили в морском сражении. Подражали они и этрускам, которые сомкнутым строем вступали в рукопашный бой, а длинный щит заимствовали они у самнитян, метательное копье — у испанцев. И все, что они взяли у разных народов, они усовершенствовали”*.

Что же касается доблести чужестранцев, благодаря которой “возрос” Вечный Город, то ее тем более можно и нужно использовать для его защиты, и вот Латиний Пакат Дрепаний в панегирике Феодосию искренне радуется: *“Под знаменами и предводительством военачальников римских шел бывший некогда враг Рима; он следовал за значками, против которых стоял раньше, и наполнял как воин города Паннонии, которые давно обезлюдил. Гот, гунн и алан откликнулся на перекличке, стоял на часах, и боялся отметки об отсутствии”*. Эту благостную картину несколько портило осознание того, что варваризация римской армии есть следствие и свидетельство отнюдь не растущей мощи, а прогрессирующего упадка Рима. Клавдиан, скрепя сердце, соглашается: *“Пусть будет так: раз в наших воинах застыла сила и они научились повиноваться расслабленным начальникам, пусть северные пришельцы отомстят за порванные законы, пусть варварское оружие придет на помощь римскому позору”*.

Позор, действительно, был очевиден: теперь не варвары стремились подражать римлянам, а римляне — варварам, и это стремление пронизывало и элиту, и массу. Впрочем, теперь

“варварского” не стыдились — им гордились, примером чего могут послужить высказывания Авсония — бурдигальского ритора, прославившегося в качестве поэта. *“Кануло время отцов, что из Рима правили миром”*, провозглашает этот *“ведущий свой род от корня далеких вивисков”* галло-римлянин, упирая на то, что *“Катоны даны не только старинному Риму”* (“Мозелла”). Если прежде даже италийцы, не говоря уже о провинциалах и потомках романизированных варваров, скрывали свое неримское происхождение, то Авсоний буквально им хвалится: в “Паренталиях” — цикле из 30 стихов, посвященных многочисленным родственникам и свойственникам, он детально прослеживает их галльские корни. Галльская Бурдигала дороже Авсонию, чем сам Рим: без колебаний введя скромный муниципий в цикл “О знаменитых городах”, где столице империи посвящена всего одна строка, поэт, он же крупный чиновник и знатный придворный, провозглашает: *“Рим стоял во главе городов, — Бурдигала да будет /Их замыкать череду на втором приметнейшем месте. /Это — родина мне, а Рим — превыше всех родин. /Риму — почет, Бурдигале — любовь; хоть консул в обоих, /Здесь я — жилец; тут моя колыбель, там — курульное кресло”*.

Если уж римские консулы делают такие заявления, то что взять с рядовых граждан? По словам Сальвиана, живописавшего, как спасающиеся от непомерных налогов бедняки Империи уходят к исполненным всяческих достоинств варварам, *“в прежние времена имя римского гражданина не только высоко ценилось, но и дорого покупалось; теперь же его отвергают и от него бегут, настолько оно считается презренным и даже ненавистным”*. Правда, при ближайшем знакомстве с “благородными дикарями” впечатление оказывалось иным. Но жаловаться было уже поздно: кто был когда-то чужим, теперь владел Римом как своим — территория империи стала предметом борьбы между варварскими королевствами, и мнения “последних римлян” никого больше не интересовали.

Таким образом, римская история подошла к своему верхнему пределу. Показателем этого был тот факт, что социум, которому она соответствовала, перестал противопоставлять себя как сообщество “своих” миру “чужих”, утратил границы и лишился идентичности, растворившись в окружающем. Закономерно, что это состояние морфологически подобно и структурно эквивалентно ранней римской истории, когда соответствующее общество только приобретало самоидентичность, проходило процесс кристаллизации, собираясь/стягиваясь из окружающего, интенсифицируя оппозиции и устанавливая границы. Последние в то же время были незначительны сравнительно с классикой. Тем самым ситуация начала обнаруживала много сходств с ситуацией конца: оппозиция “свой — чужие” максимально значима для расцвета и минимально — для становления и разложения социокультурных организмов, и случай Рима — один из лучших тому примеров.